

АБОЧИИ

АДОЧУГ

8587

8587



0152 49

50
9156

№ 1

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННО-БЫТОВОЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ



1926

Годовал

В журнале принимают участие

п.п. Вл. Алешинский, А. Амсперда
дашников, Л. Вейсман, И. Гришкин
«Везувий»), А. Глуховский, Н. Ермаков,
ский, Юлия Илюнюк (Новозыбков), Н. И.
(гл. ж. д. масперские), Я. Исаров (ф-ка «Ве
вий»), П. Кислицын, С. Каганович (Семен
лесев), Ник. Ларионов, И. Лаптейков (Клинц
Л. Плоткин, Н. Пепров, Р. Ротштейн (Еф
Одинокий), Ник. Румянцев, А. Склезнев (И
лицкие лесозаводы), Георгий Хвастунов,
Хевелев и др.

**В отделе общественно-бытовом активное участие
принимают рабкоры и селькоры губернии.**

Иллюстрации худ. БАЛАШОВА.

Читайте все „Рабочий Досуг“!

Шлите отзывы, мнения о журнале,

пожелани

Коллективная критика исправит все наши недостатки

Рабкоры, селькоры, стройте свой журнал

Рабселькорам — проводникам ленинских идей — привет!

Ник. Ларионов. (Чаен пр. Гол. „Перевал“).

ЛЕНИНСКАЯ СТИХИЯ

2-му Губернскому Съезду Рабселькоров.

.. Сошел с коня и кинул повод с рук:
— Здорово, фабрика! Встречай родного
гостя,

Не узнаешь? Игнашна, политрум.
Хромаю что — так это у Замостья.

— Ну как? Хришишь? Работы, чай, тюки.
Пришел и я, старуха, на подмогу.
На фронте мы — с руки иль не с руки, —
А всю шпану скрутили понемногу.

— Дашь станки! А ну, по-взводно стройсь.
Разруха, гворишь? Забот и дел громада?
Дружной, по-ленински! А, главное, не бойсь:
Коль поднапрям — залечим все, как надо. —

... И ожили станки. Стальную выгнув грудь,
Заводы красные как прежде задымили.
Россия тронулась в далений страдный путь,
В немерянные сажени и мили.

Но есть враги.. И здесь нужны бой
За труд, собираемый в невиданные соты —
И шлет завод на бой детей своих —
Железные рабировские роты.

Здесь блуза синяя — бойцовская шинель,
Перо — наган. Заметки — вот патроны.
И линотип свицовую метель
Стремит в русло заверстанных колонок.

Неискушенные — мы боремся за все,
Воспламененные — мы зажигаем сами,
И бодро и уверенно несем
Ключи Коммуны — Ленинское знамя.

Алтайский

СЕГОДНЯ

Вчера еще — чумазые, в жирной копоти,
На мир мы глядели сквозь дым и пыль,
Сегодня в упор гневной ропоти
Кидаем —

Ослепительную быль.

Вчера еще — на свежие листы газетные
Икало кафе, шурился кабинет.

Сегодня — едва дрогнет рассвет бледный —

Фабрика торкует

О запахе газет.

Бодро порхает по цехам вымощенным

Гулкий, утренний, ирелкий разговор,

Что из «Полесской» утром нынешним

Получил письмо
Фабричный рабкор.

И, уж верно, сегодня же, карандаш обу-
сывая,

Вкрапит в бумажку фабричный разговор,

Ероша непокорные вихры русые,

Трибуна сегодняшней —

Фабричный рабкор.

Фельетоны, стихи, рождественские сказки,

Не знают, что такое читательский вздрог,

В светлое завтра, за Ленинскую закваску —

Хозяйская уазна

Рабировских строн!



Вл. Алешинский (Член гр. Гол. „Перевал“).

I.

Земля в тот год от солнца полысела. Ветер тихонько гнал зной в степи, в нерадостные дали.

И жизнь была нерадостной. Тощал, опухал народ. Мер.

Остался Митяка один, как лилка ободранная, что за овинном стоит.

На овине соломы нет—небом крыт. Хата тоже небом крыта. Добра этого, то сильнее, то голубое, иль, примерно, в дождь, непогоди—серое, черноватое, что смородина—на всю землю хватает.

Красивым бывает небо, когда к ночи будто со шпурка стеклянные бусы снижет и полной горстью рассыплет их где гуще, где реже, а они горят, переливаются... Иль волкнет гребешок мушкетер и пустит, ровно лебедей, облачка белые, пушистые..

Жизнь Митина, как лебеда: горькая.

Жрать хочется. Какись, мал, худ, что жердочка, а буханку хлеба зараз с'ел-бы.

— Ножом пырнуть в румяную корочку,—думает Митя,—послушать как хрустит, потом кусочек сковырнуть, на зубы положить и опять прислушаться: хрус-хрус,—музыка!

А потом напиться—и в сено—спать..

И вот ночью, когда ни солнца, ни маяты, зашагал Митя по дороге к станции. К утру придет вместе с утром, робким и сонным, и другими людьми, ввалился Митя в вагон.

Когда поезд тронулся и поезда, тревогой забилось Митино сердце.

Поезд поет и останавливается: развозит радость и горе по российским дорогам.

II.

Город большой, улиц много. Дома большие и маленькие—вперемежку. Одни веселые с большими окнами, другие сердитые: вот-вот раззавают рты и—хоп—человека, другого.

Маленькому человеку в большом городе, что длинной нитке в иголке. Так вот и Митя.

Пробовал кусочки подбирать. Да разве кусочками будешь сыт, когда их, что пятниц на неделе?

И в городе узнал Митя, что дареный хлеб горек и черств, как сердца дающих..

Спит Митя под небом—ясным и голубым. Трава в привокзальном садике, что перья из подушки, щекогут ласково. Сны у Мити жесткие, как укатанная земля.

Уроется, укутается в старый, рваный зипун и запахи, что идут изнутри, поймаются, поймают травинку, и в сон, что в колодец, уйдет.

Иной раз не спится. А ночь в бессоньи—верста для безногого. И думы: то на костях, то на конях резвых.

Нежданно мечты Митины на конях резвых примчались день желанный. С утра дождик дождил, песню танов веселую на разные лады:

то будто скороговоркой, частенько, то тихо, с расстановочкой, и—стих.

Легко уходили облака, сырые и негрозные. Седой, с лицом грозным и глазами безбровыми, словно ворона их выщипала, подошел к Мите человек. Посмотрел на него снизу вверх, мыкнул в нос, чесанул за ухом, погладил бороду.

— Здешний ты? Который раз примечаю.

— Нет, дяденька, не здешний я.

— Гоцеваль приехал!—душегубной востроносой пустил человек уменшку по лицу,—где не ждуд там-то гостя, у кого мясо, у кого—кость..

Две слезинки из глаз Митиных по лицу бледному, точно по сырму голландскому, покатились.

— Отроду не воровал,—задрожала в голосе обида.—Не будь мне доли в жизни сиротской, коли вру!—Окрестился:— Вот-те, дяденька, крест.



— Здешний ты? Который раз примечаю.

Мыкнул человек.

— Ишь, крестом метишь и глазами не врешь.. Пойдем ко мне. День-другой поживешь, а там уж посмотрим. Айда!..

Шел Митя, ровно пьяный, ничего не видел, кроме широкой спины человека в чесунчевом пиджаке.

III.

Где три улицы клином сбежались, сплонув на площадь с десяток домов,—там дом Михай Ивановича Попюшкина. Высокий, с подвальчиком и мезонином. На гребне крыши—петушок железный, на ветру кружится и скрипит годами своими: 1880.

Понюшкин зимой в синем пальто ходит, летом—в чесунчевом пиджаке; топырится пиджаком на брюхе.

По России замки и ножи с клеймом Понюшкинским ходят: замками добро от лихих людей берегут, ножами—хлеб режут, свиной режут, а то и людей.

Замки и ножи в подвальчике у Понюшкина мастерские делают. Трое их. Один старенький, горбатенький, будто своих лет испугался, да и осел. Звать его—Иван. Мастер большой, да бедность одолела. Вот и работает за хлеб сухой и горький, как остаток его, ивановой жизни.

Остальные двое—отец и сын. Беловолосый с худым лицом Федя, на год старше Мити.

Когда Митю поставили к камню накладки и



Замки и ножи в подвальчике у Понюшкина мастерские делают.

ключики шлифовать, он словно вырос и в глазах его не могла уместиться радость, что в сердце была родником: он зашел. Сначала тихо и грустно, потом веселее, громче.

...На песню, словно телега на воробушка, наваливается Понюшкин, топает ногой.

— У меня не петь!

Молчит Митя. Стрелковым стрелком стрелочек камень. Мечутся прыгают искорки, как бабочки.

Когда уходит Понюшкин, Иван подходит к Мите.

— Думаешь, по жалости взял тебя, думаешь, сердцем жалостлив? У Понюшкина—понюшкин платят.

Помолчит и скажет Митя:

— А вы-бы, если плохо, ушли?

Тогда Иван дергает очки за огибельки и как бы, спадает в лице.

— Побегал бы, сказал безногий, да оглянулся...

IV.

Жизнь—штука хорошая, когда за плечами вязанка лет в шестнадцать хворостинок.

А вот, если...

Федя быстро проглатывает обед, торопится обратно в мастерскую. Отец уже ушел. В большой узкой комнате полутемно; мать скребет ложкой пустой горшок; братья и сестренки играют на полу, и их игрушки, старые железянки, из белой жести, единственное светлое и блестящее, что есть в этой комнате.

Вечером в мастерской лампа роняет черную бархатную копоть и желтый свет. Митя лаком попрыскает замки. Как лак, блестят его глаза, тубы шепчут неслышимую песенку.

Кормит Понюшкин вдохо, спать приходится тут же в мастерской, на дурожке. Под голову кулак.

Но есть у Мити тайная мысль, что сидит в его голове так же крепко, как большая его голова на крутых стиснутых челюстях:—мастером стать,—замочником, ножовщиком, и тогда... Что тогда?

Сбегаёт с лица улыбка, строже хмурится лицо, и только нос, крепко ввинченный, острый, что зимний пши, спокоен и величав.

— Куда пойдешь? Вон-те несколько годов работают, и то дрожат, что-бы без работы не остаться.

Митя сжимает руку в кулак до хруста, потом, словно приняв какое-то решение, продолжает работу.

Глаза под упрямым лбом смотрят хищно, будто высматривают в неизвестности бегущих людей, его, Митило, крепкое место в жизни.

V.

Время—ветер, дни—пушинки.

Осень смыла краски. По земле зима холстов белых настала.

Потом весна прикалала на телегах мужичьих; жаловались телеги на немаланную долю свою. Подросла весна, ридиться стала: в зелень, росы и нежные зори.

Утром одним к Понюшкиным человек пришел. Незаметный с виду и лицом, но при очках и портфеле. Стучнул дверью, глазами обжевал комнату, зацепился взглядом за божницу под потолком,—ухмыльнулся.

— Гражданин Понюшкин здесь живет?

— Здесь.

— Так-с, вы Понюшкин и есть? Так-с.

Человек подошел к столу, развернул портфель, а из портфеля—бумажки краешками ехидно выглядывают.

— Извольте отвечать на вопросы.

Засыпал человек Понюшкина вопросами, и с каждым вопросом хорошилось розовое, безмятежное лицо Понюшкина. Потом встал, пристально посмотрел на Понюшкина.



— У меня не петь!

— А теперь покажите мне вашу мастерскую. Метнулся в смежную комнату Понюшкин и пошопотом послал жену в мастерскую.

— Скажи, чтоб не писали, все мол, хорошо... Не то... вышвырну... к чертям!..

Человек пригнувшись, смотрел по сторонам, а когда чуть не отбил голову при входе в под-

вал, протянул недовольно:

— Умм!

Человек закашлялся.

Жена Полюшкина стояла за дверью, как полтавская снежная баба.

Человек был грозен и велик.

— Ну, как, товарищи, работаете? Что получаете?

Полюшкин глазами зряял свирепый выбор.

Первым ответил Федин отец.

— Жалиться не на что...

— Работаем...—проскрипел старик Иван.

— А ты, парень, сколько часов работаешь?—спросил человек Федю.

— Сколько полагается,—ответил он и чуть скривил губы,—хозяйин у нас хороший.

Усмешку эту поймал человек и понял. Встал, попрощался.

— Я зайду еще раз. Зай-ду.

И ушел немой и загадочный, как шаркуляр.

В тот день вечером, как весь год, Митя лег спать в мастерской. Было душно, сыро и темно. Ныло тело.

В десятом часу ночи Полюшкин залез в мастерскую.

— Пойдем, Митрий, наверх: поужинаешь, чайку напьешься, спать ляжешь.

Не хотел идти.

Полюшкин упрашивал.

Пошел.

В светелке у Полюшкиных светло, на столе говядина, хлеб белый. Сел Митя за стол, ест, пьет. В первый раз, что живет у Полюшкина, кормят его по человечески: наверху, в светелке.

Сам Полюшкин подсовывает— ешь.

Разобрать бы сердцу, а оно злобится.

После ужина сказал Полюшкин.

— Спи здесь, Митрий, в мастерской, тебе, сырости, холодно...

...Не выдержало сердце Митино, забилось зверьком, и весь он сжатым оцетачился: не трюк.

Сказал:

— Спасибо, теперь не холодно—весна. А зимой-то чего не просили, когда ноги гудели у меня, когда ночи танцевал, чтобы не застыть... У, гады!.. Меня лаской от опаски не прамзничете...

VI.

Жизнь—штука хорошая.

Руки-кляпы надежные, ими в жизнь вцепиться—не сорваться.

И Митя знает это, и оттого что знает—тверд, уверен в себе.

...Хорошо идти весенними утрами в светлую березовую рощу, под свиристенье птиц и гудков, идти по черной от человеческих ног дороге. Хорошо и то, что рядом и старик Иван и Федя идут по одной тропе: двое молодых, крепких и старик сухой, что сухоостойное дерево, надломанный жизнью, что громом дерево.

Впереди же, где тропа косою влетает в угольно-черный двор, высится красный со светлыми заплатами окон, фабричный корпус.

Вокруг и в нем свирестят птицы и гудки...

И не по гудкам ли весна торопится. Мается перед маем апрель и земля апрельская, поросшая бледно-зеленым пухом, ровно утенок, из яйца вылупившийся.

Георгий Хвастунов. (Член ир. Гом. „Перевал“).

П и с ь м о.

Сенокос. Но в Москве, на гранитном лугу,

Я носу наточить не могу.

На восьмом этаже у меня, мужика,

Нет бабки и нет оселка,

Только есть проводов золотая тесьма,

Да обрывки родного письма,

Старый в гости зовет, говорит „приезжай“

Будет знатный в полях урожай.

Жито сплет, пшеница лохмата, как я,

А овес, молоко затая,

Гонит стебли свои в колосистую сечь,

Сноро будет Кудласт, как медведь!

А еще говорят, что у нас на селе

Все дружны, как в пчелином улье,

А в конверте письма голубой василек

И приписка: „Родимый сынок,

Этот цвет, эту синь белорусских полей

Ты снеси в Ильичев мавзолей,

Да скажи Ильичу, что в деревне о нем

Грусть цветет васильковым огнем.

А пока прощевай. Да смотри, приезжай,

Будет знатный в полях урожай“.

Я приеду, отец, чтоб работать и жить,

Чтобы сено в стога положить.

Я приеду домой, только ты не ругай,

Коль не будет в суме пирога:

Все гроши я на книги ухлопал вчера;

Вместо ужина по вечерам

На восьмом этаже я почти без штанов.

Твой Егор Хвастунов

Семен Полесьев (Член ир. Гом. „Перевал“)

СТАРОМУ БОЛЬШЕВИКУ

Наше время—опытный лекарь,
Перед ним все врачеванья—дым:
Кто бы мог седого человека
Напоить задором молодым?

Вот старик—
По возрасту юдится
Он отцом быть могю отца:
Помнит, старей, царские темницы
И отраву царского свинца.

И вот этот,
На себе пронесший
Груз тяжелых подневольных лет,
Напоен и бодростью, и мощью,
И любовью к жизни и земле.

О, старик!
Ты был меня моложе,
Когда вдрывал рунал мои стихи:
„В них, мол, часто удаль молодежи
Тонет в кислом зареве тоски“.

Да,
Бывают ирешные минуты—
Обрастает сердце сединой,
Иль потянет к миновавшим смутам,
К бесшабашной широте степной.

Только ты всегда, всегда спокоен
На суровом будничном пути;
Можешь радостное и большое
В неуклюжих тезисах найти,

Можешь боль, как олово, расплавить,
Не ослабив в кулаке узды,
И в веселой молодой ораве
Оставаться самым молодым.

Рассказав про царские темницы,
Вспомнит шуткой полицейский рык...
У тебя бы жизни поучиться,
Сединой обросший, большевик!



Л. Плоткин (Член ир. Гом. „Перевал“)

ПУРГА

Пурга. Бушующие плети.
Горды снегов. Седая жуть.
Лишь сиротливо лампа светит
И одинокий я сижу.

Пурга в бреду... Но хорошо ей,
Седой, хлестаться и реветь,
А мне взволнованной душой
Дано пока не громко петь.

Слать задумчивые строки
В дремотно чуткой тишине
О близком, о былом далеком,
О радостях в родной стране.

Удастся трепетно и звонко
Расплавить сердцем строчек ша—

Неловкой радостью ребенка
Переполивается душа.

Но только тлотно сорвутся
Стихов холодные куски,
Как плечи, вздрагивая, нутся
От обжигающей тоски.

А ветру что—прижмется в страхе
К окну, коварство затаив,
Назойлив он, как парикмахер,
Стригущий волосы мои.

Ворчит и шепчет, не смолкая,
Плещет холодной пургой
Степей разнузданный хозяин
И надоедливый и злой.

И. Гришкин (Чл. из Гом. „Перевал“)

НАХОДКА

В халупе псаломщика Ксенофонта Тукитша сидели Бабы, расположившись на кирпичной скамье, обидчиво упрекали мужиков. Те гневно ругали баб.

Спор шел о найденной золотой трубке, вчера проданной местечковому трактирщику за восемьдесят пять копеек.

Дед Осип, бывший николаевский солдат, считавшийся в деревне неофициальным старостой, решительно стучал кулаком по столу:

— Дуры!.. Кто-ж, как не вы? Не баба Михайла рисковала к Антошгчу и настаивала: «Антонюшка, скорее езжай в местечко продай жиду и-ша»... Узнают в волости, спросят, истинный крест, слопалот, а то ночью похитят! Шутка ли, золото! Антоным человек не стоглиный, сдрейфил и задарма продал. Арина как узнала, так и пошла гармонить: «Мужики в лесу трубку нашли, золотом блестит и вес имеет, мой барин стубил». А теперича крик: «85 мало, на 105 душ не разделишь».

Весть о том, что найденная золотая трубка продана вчера саложником Василием Антонычем за восемьдесят пять копеек, всколыхнула всю деревню. Неизмеримая досада охватила ее обитателей. Шутка-ли, прохлопали счастье!

За господским двором Зюмлюк, среди вековых лесов стоял домик обрусевшего татарина знахаря Ибрагим Эгмадулина. О творимых чудесах его знали поголовно все население окружающих деревень. Вера в его чудеса крепко влезла в сердца забытых мужиков. Бзднли к нему с деньгами, мануфактурой, овчинами, мясорубными продуктами.

Сам знахарь иногда от нечего делать выходил на крылечко и при встрече с каким либо мужиком мычал:

— Поетой хозяин, будь мертв, ровно смотри, виаче... Ну-ну не бойсь! У магомета тоже душа господская. Будь послушен, счастье спеску, дощю на приданое дашь. Уйдешь от меня, передай Кондрату, что через три дня воды в хагу его надушу, а то мельницу в скворешник превращу. Души покойников танцовать будут, а Кондрат в петуха превратится. Беги и передай, только не забудь три раза на зелье плюнуть и холодной водой глаза промывать, не исподнишь—ослепнешь.

Встревоженный мужик немедленно направлялся по адресу и обо всем точно доносил. Во избежание возможных несчастий ездили к знахарю и щедрыми угощениями погашали гнев его.

Было это накануне престольного праздника. К знахарю приехавших ни за что не пускали. Кто настаивал о скорейшем приеме, посылали прочь, или советовали подождать до вечера. В глубине комнаты за деревянным столиком сидел сам Ибрагим Эгмадулин, хитро смотрел на сидевшего против него внеочередного пациента. Сквозь картонную перегородку служившую границей между приемной и кухней, ожидавшие пациенты слышали безнадежный вопль человека. Он дерзко жаловался, умоляюще просил, как бы ища снисхождения.

— Знал-бы, что поможет—верьте, не жалел

бы, пане Эгмадулин! Вот вы только что сами говорили: не всякому делу удача. Какже знаете меня? Нет столько сосен в лесу, сколько рюмок вы у меня выпили. Ценю людскую помощь и плачу по хозяйству. В местечке советовали: «Поезжайте к Эгмадулину, авось поможет... Всякий спрашивает: «Верно ли, Берка, что Рахиль твоя с офицером удрали, да в русских переkreшиваете?» Господи, прямо саблей режут по сердцу. Был в почете, теперь кругом обходят, торговля убавилась. Советуют, немедленно к знахарю пану Эгмадулину: пусть сделает, чтоб офицер в гадину превратился и Рахиль тогда вернется».

Выслушав в четвертый раз своего пациента, знахарь после некоторого раздумья достал из кармана бумажку и начал читать:

«Господин Ибрагим Эгмадулин, ваши советы и лекарства помогают. Она согласилась, только братьев боится. Они поговаривают, что ежели Ксения выйдет за меня, то меня и вас убьют. Нельзя ли, господин Эгмадулин, надушить на них туман, или превратить их в сумасшедших? Хотите ли шерсти для вас хватит».

Уважающий вас Никифор».

Прочитав бумажку, знахарь сморкал ее, бросил ее в стакан с красной водой и, положив обе руки на плечи трактирщика, продолжал:

— Ну, страдалец, теперь видишь, даже такие, как Никифор Брутик, обращаются ко мне! Урядником был, мог бы и теперь в столицу съездить, а идет ко мне... Влюбился и крышка. Плевать, говориш, на то, что борода серебрится! В Ксении молодость и сила. Думаешь не помогут?

А ты мнешься, как деревенское сукно. Значит боли не чувствуешь, хоть и говоришь, что Рахиль твоя сердечная музыка. Жалеешь?

На губах Берки заиграла горькая улыбка. Он снял с янеч руки знахаря, решительно посмотрел на его пыльно замоченные усы табачного цвета и, достав из армяка что-то завернутое в платочек, вздохнул:

— Господь с вами!.. Дало, получайте!.. Сам купиш два дня назад, отдаю не жалтею.

Знахарь ехидно улыбнулся:

— Сделаю, будет... Всех офицеров и полковников окалечу с их мушкетными халучами. Верь, Рахиль твоя будет! Только не жутайся, будь смелым. Ежели я превращусь в скотину и буду говорить человеческим языком, не бойся, крепко держись за этот стакан. Думаешь, простая вода в этом стакане? Знаешь, где достал? Поздно вечером, когда небо было обрызгано огнем и ночь была цвета пивной бутылки, из камня высосал. Не верить? Поверись, только крепко за этот стакан держись.

Берка обомлел, открыл широко глаза, тяжело задыхался и зашевелил губами:

— Пане Эгмадулин, у меня функциональное расстройство... Выпугнешь меня в порядке. Может не перенесу? Руки трясутся, видите, не могу держаться за стакан. Если можете, за глазами, пожалуйста! Заочно, ведь, и приговор выносят. Берю вам, знае вапу силу.

В то время, как перепуганный пациент млеет и дрожит, знахарь, развернув платочек, принесенный Беркой, извлекает оттуда позолоченную яричкообразную трубочку. Позвав прислугу женщину, которая считалась у него и хозяйкой, Эмадуллини торжественно сказал:

— Видела?... Приобрет твой господин скоро-королем стайет. Что смотришь? Золото! Не русское, а из далеких стран.

Он крохотной иглой начал ковырять узенькое отверстие трубочки и, вдруг усумнившись в ее ценности, шахмурился:

— Ступай живее за Сандуриным! Небось, человек он испытанный. В Америке бывал, по водоту наверняка кумекает. Скажи ему обязательно, чтоб явился.

Э. Хевелев

ВЗНОС

Сейчас я, граждане, работаю на постройках. Работа наша,—прямо сказать,—чернорабочая работа: там возьми, туда принеси, отсюда прими и, к тому же, все на разных местах. Сегодня, скажем, я тут работаю, завтра на Московской, а там—на гавани.

Так вот работаю я таким манером и приходится мне время от времени платить. Я и говорю десятичку Ивану Петровичу:

— Иван Петрович, отпусти меня, дорогой, взносы платить.

— Иди,—говорит,—Вася, плати, да только в момент. Не могу я терпеть, что производство у нас не подымается.

Ладно. Я пошел. Прихожу в группком, сидит там дамочка. Сидит и в зеркало смотрит. Я говорю ей:

— Здравствуйте,—не вы ли взносы принимаете?

— Да,—говорит,—я принимаю, да только подождите: я занята.

Внимает она тут коробку и начинает личность свою посыпывать, а я стою. Потом вынула краску и давай рот красить. Тут я ей и говорю:

— Товарищ дамочка,—примите у меня взнос, а потом и красьтесь сколько в рот влезет. Меня работа ждет—там возьми, туда принеси, отсюда прими.

А дамочка кивнит и говорит:

— Работа не медведь, в лес не уйдет, а взносы я у вас принимать не буду. Потому, вы у нас второй день только работаете. Идите в старый свой группком и платите.

Я говорю:

— Я на старое место не пойду. Это—излишество. Примите тут, все одно в один карман пойдет.

А она не хочет. Что-ж тут делать будешь? На стену полезешь? Пошел я на старое место. Распоясавшись, конечно, тинично длинное, иду-иду, а конца нету. А в брюхе, между прочим, девятый вал ходит, брюхо жрать просит, а я иду.

Прихожу, наконец, и говорю секретарю:

— Здравствуйте, примите у меня взнос, да только в момент. Девятый вал,—говорю,—по брюху ходит и организм мой этого не выносит.

А секретарь:

— За организм мы не отвечаем. Мы не медики. А взносов я у вас вовсе не приму, вы у нас не работаете.

— Товарищ,—говорю,—так не дело. Так как-

Женщина, нагнув платок, помчалась к господскому двору и не успела дойти до сада, как услышала оглушительный взрыв. Стекла крошками рассеялись по двору. Вслед за этим, яркое пламя вылезло через окно наружу, перебрасываясь на края соломенной крыши.

Ожидавшие в полутемных сенях пациенты с криком понеслись прочь.

Когда на следующий день урядник допрашивал прислугу Ибрагима, она слезливо хлыкала:

— Не моя вина, господь с вами! Как знала, что трубка эта бомба—из рук бы вырвала, слово даю! Все старело, все!

(«Везувий», Белица).

тый, человек запариться может. Не могу я обратно вертаться. Это ненормально.

А он:

— Вы не выражайтесь. За выражения деньги платят.

Ну, что-ж тут делать? На стенку не полезешь? Пошел я в губотдел.

— Гражданин,—говорю,—хороший, что же это за ненормальности такие? Взнос у меня не принимают.

Червявельский губотделский закипятился, завертелся.

— Кто это не принимает? Откуда? Это сплошные идиоты!

И ковырнул он мне тут резолюцию: доскать, принять у гражданина, работающего на обороте сего, взносы.

Пошел я отсюда прямо домой. Потому время уже к ночи и работа кончилась. На утро очутился в своем старом группком. Подаю бумажку.

— Здравствуйте,—говорю,—примите взнос.

— Ладно, не облакайтесь, пожалуйста!

— Что-ж,—говорю,—это можно, да только примите у меня взнос, ради всех святых. Терпения моего нету. Второй день рабочий вовсе пропадает.

Секретарь повертел бумажку:

— Это по месту работы написано. Идите,—говорит,—и платите там.

Поблудил я тут всем своим телом. Да и пошел в новый группком к старой дамочке.

— Вот,—говорю,—от губотдела бумага. Примите взнос. У меня работа ждет: тут принеси, там возьми, отсюда прими.

— Сейчас,—отвечает,—посмотрю: выйду только.

— Что-ж,—говорю, выходите, это иногда даже необходимо.

Сел я, жду. Жду час, жду другой, а дамочка все выходит. Однако, на третьем часу пришла.

Прочитала и говорит:

— Это они в ваш старый группком написали. Идите туда и платите.

Ну, что-ж тут делать: на стенку не полезешь? Я и пошел.

И вот, граждане, третий месяц как хожу, а взносов никто принимать не хочет. Оборвался весь, на работу не хожу.

Может быть вы у меня, граждане, взносы примете?

Ефим Одинокий (Чл. гр. Гол. „Перевал“)

Н И Щ И Й

Затертый в уличной толпе,
Стоит он в грязной телогрейке,
В ладонь прстертую капель
Роняет звонкие копейки.

Цветистый карнавал лучей
Светлит ясные крыши,
Лишь он с котомкой на плече
Стоит один и еле дышет.

Зима прошла. Он превозмог
С трудом ожоги лютой стужи,
Теперь ступни корявых ног
Должны в весенней мокнуть луже.

Теплынь какая! Хорошо!
И под трезвон лучей раскосых

Он улыбнулся и пошел,
На дряхлый опираясь посох.

Куда, зачем—не знает сам,
Ликует просветленный город,
Бегут ручьи, а небеса—
Сплошное голубое море.

Бунтует, хлещет в теле кровь,
Торопит гул весенних улиц
И кажется ему, что вновь
На сердце молодость вернулась.

Идет старик. Идет и вот—
Исчез за Дальним поворотом.
Весна. Капель. А солнце льет
С небес горячие щедроты.

А. Глуховский

ФЕЛЬЕТОН

В поезде

Напротив меня сидит старый еврей, в крепкой, дошедшей шубе, и живыми бегущими глазами ошупывает сидящих вокруг. Рядом со мной беспрерывно ерзает на месте молодой человек в американском кэпи и коротеньком модном пальто, называющий себя представителем профинтерна, едущий «по поручению свыше», в один из провинциальных городов Белоруссии. Оказалось, что едет он туда всего на один день и всего на всего является агентом по распространению журвала «Профинтерн».

Эго в порядке вещей. Ибо все агенты, всех издательств, всех времен и народов всегда ерзают, много болтают, всем пускают пыль в глаза, всегда ездят из «центра» на один-два дня и только в провинцию. Поэтому у них большие портфели, несколько чемоданов, в которых с экземплярниками и журналов, мирно уживаются образцы товаров советских трестов и «дешевая» («за безценку») заграничная «контрабанда», продаваемая шопотом, по секрету и только «для вас».

Прошу не удивляться, что я так плохо настроен к этим «носителям культуры». Если б нам пришлось так часто с ними встречаться и выслушивать от них длиннейшие тирады о книгах, в которых они понимают столько же, сколько «спинья в апельсинах» (да простят меня «советская козлява» за это неудачное сравнение!), вы бы, пожалуй, отказались от своей службы,

жены, детей и всякого печатного слова. Но бог с ним, с этим агентом.

Кстати, он крепко задумался, желая во что бы то ни стало вспомнить фамилию той девицы, с которой он провел лунную ночь в забытом провинциальном городке.

— Чорт возьми! фамилия, кажется, начинается на «К». Живет она там, за почтой в деревянном домике. Вот скандал, никак вспомнить не могу.

А еврей хитро прячет улыбку в закоптевшие от табачного дыма усы и укоризненно качает головой:

— Эх, вы молодой человек! И не стыдно вам? А еще из Москвы, да наверное и холостяк?

— В дороге каждый холостяк, а жена, известное дело, для домашнего только потребления—отзывается из темного угла, до сих пор молчавший, красноармеец.

Краснеет „представитель“ профинтерна, виновато улыбается и еще сильнее трет рукой свой маленький, агентский лобик...

Бедные, жалкие дочери милой провинции! Только один вечер улыбается вам счастье в обществе московских гостей, а на завтра ваше имя утопает в бездонной памяти этих „вечных“ холостяков. Так и не выдал затертый лоб своей тайны и агент, с горя махнув рукой, залез на верхнюю полку, обложился чемоданами, решив уснуть.

Между тем поезд и не думал тронуться. Как будто дежурный по станции ушел спать, пожелав и нам словесной ночи.

Это было в те дни, когда снег щедро падал на землю, покрывая толстым слоем полотно железной дороги. Ждем снегоочистителя. Все примирился с судьбой и прикурнули, полушопотом ведя разговоры.

Не сидится спокойно только еврею. Его память держит не одну такую зиму и не первый раз ему сидеть в ожидании отправления. Да и вообще, он исколесил всю Россию, на память знает все дороги, станции и подстанки. Его ничем не удивить, ибо он представитель того поколения, кои назывались „дуэт меншун“ (люди воздуха), для которых постоянная езда нужна, как воздух, и хлеб рождается прямо с воздуха. Правда, он теперь на советской службе в качестве представителя Лесбела, но и это ведь „суета, суета сует“. Правда и то, что он не носит бороды и пейсов и аккуратно по пятницам бреется. Но, ведь, еврейский всемогущий бог то остался? Без его воли и теперь ни один волосок не упадет с головы. Также верно, что и бог этот самый несколько изменился, стал податливее к людским слабостям. И все-же не мы, а он управляет миром.

Поднялся еврей, посмотрел в окно и вздохнул:

— И сколько же он насыпал, Господи ты мой?

— Кто это он? — наивно спрашиваю.

— Вы еще молодой человек, неправда-ли? Скажите: руки у вас есть, ноги есть, на ботинках галоши имеются? Вы их видите? Вы их чувствуете?

— Да, вижу, чувствую.

— Ага! А кто природой управляет, видите? Нет? Незачем и говорить, что „Его“ нет.

Пробую коснуться науки, ее достижений, прогресса.

— Вы мне, пожалуйста, зубы не заговаривайте. Видали автомобиль?

— Ну, и что же? — отвечаю я на вопрос вопросом.

— А вот что. Пойдет автомобиль без шофера? Нет? Так вот посудите. Если такая мелочь без управляющего не может шагу сделать, то природа, такая громадная, сильная, богатая, как же? Ага! — победоносно заканчивает еврей — кто прав?

Опять пытаюсь говорить о законах природы, но тщетно.

— Скажите, сколько вашему отцу лет? Он тоже такой? Нет? Так, неужели, вы думаете, что вы, молодежь, умнее нас стариков?

— Отец умнее дедушки, а я отца умнее, говорю я ему.

— Знаем мы вас — многозначительно замечает старик, с явным желанием оборвать щекоглавый разговор.

Через несколько минут он, вкряхтя и охая, валяется на верхнюю полку.

И чувствую я: где-то в глубине старческой души давно роятся грешные сомнения.

Но разве можно отречься от старого, доброго и грозного еврейского Бога? С чем же тогда останется умный, доживающий свой век, старый еврей?

Селькор Н. Шелеко

* * *

*Я сегодня много проработал,
Летний день промчался незаметно...
Снял рубаху мокрую от пота,
Сел писать в редакцию заметку.*

*Я писал и знал: пишу не даром,
Ведь заметки чистят жизни путь,
Твердо знал — пылающим пожаром
Осветят они деревне путь.*

*По селу звели кусты акаций
Запах их маня и в дали звал.
Я писал в далекую редакцию
И не видел: солнца шар упал.*

*Я писал и чуял: у забора
Слышатся тяжелые шаги,
За углом избушки ждут селькора
Бедноты и партии враги.*

*Знаю, что меня, быть может,
Унесут убитым со двора,
Но меня и это не тревожит...
Я не брошу своего пера.*

Общественно-бытовой отдел

ОЧЕРКИ

В. Ходьков

БЕЗ ВЕНЦА

Когда бы теперь дядьке Луке Кондратьичу кто-либо сказал, как он Микитку своего женил, то дядька Лука такому смельчану добрую-б оплеуху поднес.

Намедни тетна Устинья возьми, да кумеки — «сватайтесь, сватайтесь, грит, чортовы дети, в филипповку», когда «святон» не дождетесь, да смотрите, бесенята, чтоб и у вас невесты с первой ночи со двора не сбежали, как у Луки Кондратьича утекла Ксюша от Микитки.

Ну, Лука известно, матом на тетку Устинью, а насчет рукоприиладства не вышло: тетка Устя делегаткой женотдела у нас ходит. Раз делегатка, — приходится с дороги сворачивать.

На что богатеи Лука Кондратьич: каждый год по сотне колод пчел и ветрянки у Луки размашистая, крыластая, чуть не каждый день вертится на Помирнах. Доходно живется дяде Луке в полном достатке. Да и сынок Микитка, единственное дитя, наследник, можно сказать, всего Лукиного богатства. Мало того, бабы сказывают, что и на «службу» Микитку не заберут. Чем бы, кажется, не жених? Если с лица, малость, не того, не вышел, зато с достатком. Только Ксюша на все его богатство начхала, с первой ночи от Микитки убежала, шельма, домой. На селе разные разговоры про Луку пошли. Одни говорили, — скуп сильно Лука, так вот Ксюша и испугалась его скупости. Антроп уверял, что скупостью своей Лука и богатство такое нажил.

— Кто скуп, тот не глуп, — философствовал с расстановкой старый Антроп. — Старики подтверждали. Один Федулай Еремушкин с ними не соглашался. Не от скупости своей разжился Лука, а потому, что любил часто в церковную крынку руку макать; как пробыл 10 лет подряд «титарем» Лука, так и богатство сразу у него появилось: пчелы завелись и ветрянки завертелась. Говорите, бог ему помог, Лука богу усердно молился? Хорошо, а почему бог-то ваш Евге кривой не помог? Ведь, век свой покойница по монастырям, да угодникам разным проходила, а пришлось помирать Евге, так сердешную нашли под забором.

— Вот то-то оно и выходит, что и бог ваш несправедливый, — возмущался Федулай.

Но что слушать Федулая, мало-ли чего по злобе человек не наметет зря, особенно если еще под чаркой. Вот бабка Фекла говорит совсем другое, божится, что своими глазами видела, как радужный, искристый змей по ночам к Луке летает, золото носит.

— Бабочки, — говорила бабка Фекла, — ей-бо-пра, чтоб глаза на старости у меня лопнули, коли вру! Вышла это я на «растаньки» вечером, корова моя забрела — ищу, да знай кличу: рябушь, рябушь, — глядь, что-то огненное, полосатое по небу, да так летит низко, шум ажно кругом пошел. Перепугалась я, кетиться да-

вай, воскресную молитву читать, а оно доле-ти до Лукиного двора, возьми да и рассыпья, искры только пошли по сторонам, в глазах потемнело, боюсь как бы с перепугу лихоманка со мной не приключилась. Иду домой, да все воскресную молитву про себя читаю. Дома опаматовалась я, что это змей Луке золото нес.

По «савецки» в исполкоме Ксюша Фадеева обвенчалась еще недели за три до свадьбы с Микиткой Лукиным. Много женихов было у Ксюши, Лука на-первых, было, заартачился: как это так, как это теперь стало быть, в пост в филипповку, свадьбу сыграть? Но получивши должное внушение от строгой супруги, что все это делается только для формальностей и захвата невесты, а свадьбу они будут играть после Крещения, как и полагается добрым людям, успокоился. И, узнавши, что без «треклятой» исполкомской бумажки и о. Филат не станет венчать молодых в церкви, почесавши за ухом, Лука крепко выругался на «сполкомцев», что дорого берут за «легистрацию».

— Вот она, свобода большевистская — отделение церкви от государства, а за «легистрацию» रुपь семьдесят отдай!

В тот вечер, в сумерки, в поземку филипповскую, под вой ветра, в поповских комнатах разговаривали: о. Филат и Лука.

Потолковали, выпили и сошлись на том, что батя обвенчает молодых в церкви и не снимая венцов, поведет новобрачных в венцах прямо на двор к Луке, а за весь этот «лишний труд» Лука, окромя обычной цены за венец, приплатит еще три рубля.

Венчались в церкви, праздничным днем. Любопытных посмотреть на молодых собралось много. Всем было интересно, как это Ксюшка Фадеева, считавшаяся первой красавицей на селе, крутившая два года любовь с коммунистом Алешкой Чижиком, ни с того, ни с сего взяла, да и пошла вдруг под венец с Гулявым Микиткой Лукиным.

— Вот так Микитка, ловко коммунисту очки втер! Вот-те и мовчун, а Чижика об'егорил, — говорила тетна Лукерья, протискиваясь сквозь толпу вперед.

— Молчи, Лукерья, грех тебе! — загоразивая дорогу, прошамкала бабка Фекла, — Рази ты не видишь, что с синяками девка стоит под венцом?

Но видно не крепко обвенчал о. Филат Ксюшку с Микиткой, не помог девке поповский анафист «всех скорбящих радости». Ночи не переночевала Ксюшка с немилым. Птицей от него улетела. Болит у нее сердце, тоскует, к милтому дружку просится. Ноет белая грудь де-

вичья, не дает красавице покоя, душно ей в богатейской «коморе». Просит она, Микитку постылого пустить ее хоть на часок на волю, подышать свежим воздухом, деревенским, дегтарным, смолой еловой, конопляником, мятой пропитанным. Дурно стало Исюше, когда начал Микитка обнимать ее гибкое девичье тело лапшицами долговязыми. Точно от его поцелуев колочих. Силком хотел было уже ее Микитка, не стерпела тут дева, раз его по морде, а сама с кровати к дверям, да на двор. Выскочи

ла, глядь около дверей Алешка Чижик вертится. Другое он хотел тут сделать, да она помешала. В хате сваты хмельные песни свадобные горланят, дружки «вельце вьют».

А Исюшка и Алешка радостно шли на другой край села. Сверху им ярко светила луна.

Дошли, скрипнули ворота, завизжала калитка. Подползла полночь, опустилась на сонную деревню, по селу петухи загорланили, скрипом ворот разбуженные.

(с. Огородня-Кузьминичная).



Миронос

ЗА ДВЕРЬЮ (СЕЛЬСОВЕТСКОЙ)

Мороз размягчил щеки у Вавилы Пантелеймоновича. Поджавил старика. Он шел вприпрыжку и быстро, кулем, вкатился в избу. Изба была густо начинена народом: «общее собрание граждан села Поддубного». Ни больше, ни меньше, не лучше, не хуже того, что вмещала в себя по праздникам эта избушка—таким было всегда здесь общее собрание. Сунулся лишний непривычный человек, постоял у порога—и за вернуло оглобли домой.

— Вороти назад, без нас буде,—предупреждает он всякого встречного, отозвавшегося от нечего делать, на призыв сотского, обходившего село. Обычно состав общего собрания в Поддубном определяется двумя-тремя десятками завсегдашних и десятком-двумя случайно попадающих туда граждан.

Вавила Пантелеймонович принадлежал, однако, вовсе не к числу случайных. Несмотря на свой преклонный возраст—62 года, он 8 лет тому назад, вернувшись на родину, быстро освоился с духом времени, приспособился и «взял на курс», как говорили поддубцы. За плуг не брался.

— Работа дурака любит,—говорил он,—а на наш век дураков хватит,—добавлял тут же бесцеремонно. Шил, ел, жил «за мое распожалуйста»,—по отзывам близко знавших его граждан. Хозяйства у него было, всего одна телушка, так и ту сбыл, как только прошло землеустройство и миновала необходимость в распределении луга по головам скота. Землю сдавал другим, не удобрял.

— С нас удобрений будет, как чаще передела земельные устраивать станем,—не церемонясь, полуглуху, полусерьезно говорил он обычно. И ежегодно с вопросом о новых переделах валапандуются в Поддубном. Ругают Пантелеймоновича все на чем свет стоит, но заглазно, а в глаза и слова промолвить не решаются. Как только перевыборы—не в сельсовет, так в комитет взаимопомощи выберут. Сторонники-собутыльниками поддержат, другие, кто

против, сдрейфят—тоже за него руки подымут. Как с ним справишься?

— Его не проведешь, в воде—а сух,—пон он какой у нас. Вавила этот самый,—продолжал разговор в углу избы Василий Подсевный. Он рассказывал собравшимся поселчанам-соседам о проделках Вавилы Пантелеймоновича. Как он «закоп земельный обошел». Раскатистый смех громом потрясал избу.

— Однажды раз,—начал рассказчик по «земельному вопросу», брат Вавилин, значит,—Дорош должен был избу сносить, выбираясь на поселок. Усадьба его под общество поитьте долгая была. А усадьба дорогая—сад плодородный, обширный. Так что-ж придумал Вавила? Стал возить Дорош хату, глядит, а в ей, в середке, другая хатенка крохотная стоит—из башки сложена. И Вавила Пантелеймонович в ей с бабой печку топят, блинчики пекут... По закону, значит, за ним усадьба и осталась.

Вавила Пантелеймонович во все время рассказывал за только в бороду ухмыляется.

— Только же за советской властью и пожить можно. Эх, вы, слезазары!—замечил он, бросив ястребинный взгляд в угол. Рассказчик смутился, стал вертеть цыгарку.

— Ну, товарищи, просим очистить помещение, потому у нас с членами совещание будет.

— Какие там совещания тайком? На миру репай дело,—взгорячился Подрезов Семен.

— Не твое дело закон устанавливать, на то спаркмы разные, на то центер приказы дает от советской и коммунистической власти. Раз тебе приказано удалиться из общественного здания, значит при закрытых дверях совещаться будем насчет дровяного лесоматериала.

— Конечно, при закрытых дверях ловчей нашего брата обдурить!—вмешался Клим Скок,—мало кто видеть будет... Тоже власть!

— Ну, не пересушивайся, коли не схватил по зазывку, наступая, провозжал Вавила за двери Скока.

— Пускай делают дровишки, коли еще не поделится проем, а ведь почти на все наше общество получили,—не выдержал Лазарь Растелепа, прыгнул заперт к двери. Неожиданно вылезали мужики по очереди за дверь, запахивая равные полшубки, горбысь, палобудивая косятые шапки. Насойливый мороз кусал отсыревшую кожу на руках и лице. Не торопились мужьями домой. Застраили у дверей, в сених, очень плохо защищавших их от разгулявшейся бури.

— Свят Мирон, ты здесь?—обозвался в темноте у порога Клима.

— Авдонию, постой, не уходи,—предупреждает Савка Кулага.

И все кучкой, впотьмах, различая друг друга по голосам, открыли свое совещание. Полушубково, полуделовое.

— Это нам наука: не иди, баба, замул за внука,—начал Скок Клима. Как в совет выбирать, так нам Вавила хорош, а как до дела—затылки чешем. Дело обделывает прохвост какой-нибудь с кулаками. Продажная душа. И сенокос забугныл им и дровами теперь их награждать собирается.

— Без комитетов—не в праве,—замечает голос из темноты.

— А что нам комитет сделается, коли он им за пляшку всех нас с петрохами продает?—А по настоящему, коли хороший комитет у нас или сельбор, как по другим селам, был, Вавиле Пантелеймоновичу утереть нос не штука,—выступил Ильяш Вусан.—При землетруйстве наградили, кого хотели, за самогон нашей землицей, этот самый Вавила со своими приклевбателями. Тащат сельсоветчики, кто что видит и куда видит, тыряютуют без просьбы вместе с Вавилой-председателем. Что говорить,—куда голова, туда и ноги. А он отец старый, Вавила. В Икее курсы прошел по вытрезке маршалов. Раз шел на работу городом, вижу Вавила с просточкой в пальце, в чертальках—барит баритом идет и за собой мужиков ведет, человек пять. Доподлата я, что фокус какой выкинет. А он их привел в чужой двор и велел колотить рыть. Разделались они, котомочки свои разложили и принялись рыть. А он их со своей пайкой тем временем, как лимбу, общетил. И сам—давай бор погн. Вот он какой.

— Прихвостень, кулацкий, проходимец!

— А мы таких себе еще в начальство выбираем, да еще кого-то ругать собираемся, власть, мол, плохая.

— При чем ты власть, коли меж нами плохая власть?

Слышались замечания со всех сторон. С заключительным словом выступил красный инвазист Фома Пискун.

— Восемь лет учился, пора мозги на прищел взять. Екзамента выдержал. Ни одной промашки больше в этом деле. Каждый середняк, жалкий бедняк, сплотись и не пусти в сельсовет прохвоста, шкурника, негодя и кулака. Вот, что, братцы, потому выспрадал я все это под шубами да свирядами..

— Годи, не опшибемся!—выкрикнули несколько голосов сзади.

— Брешете вы как собаки за дверями а завтра сами за Вавилу руки подымете,—возразил Клима Селедка.

— К сукиному его сыну, а не в совет,—возмутился всех более Растелепа.

— Кроме Головачева нам и шукать нечего,—человек самый раз: четвяжка, из бедноты, работиший хозяин,—характеризовал Скок. За наше дело стоит твердо, вот что главное,—поребивает Свирид Дудкина.

— Антиресант, не токмо какой службист будет, ради получения прибыли себе,—вставил свое замечание и дед Лисей,—умет постоять за нашего брата бедняка, как летось Параску от этого сукиного сына Вавилы Пантелеймоновича защитит—не даст ее в обиду, вдову с пятью детьми.

— А как насчет начальства высшего?—возразил Растелепа,—не примут, того гляди, нашего кандидата?

— Успокойся, друг, не в праве,—разъяснил Пискун. Народ много хочет выбирает, никаких командерств не допускает советская власть. Не позволим никому-либо прехвосту куралиться над нами—не те годы. Народ понял, разбрался в своих правах.

Все было понятно. Дело было сделано. Последнее слово разошлись точно по уговору, никаких им у кого возражений не было против высветленной кандидатуры Головачева, Головачев, Головачева... Головачеву...—склепилось всеми это имя и находились за ним все новые и новые полемические стороны. Имя Головачева, намеченного в председатели гражданами за дверью сельсоветской, росло с каждым днем в глазах населения, на страхе Вавиле Пантелеймоновичу с небольшой кучкой его близкой родни и собутыльшиков.

Головачеву вместо Вавилы именину (мо быть в председателях, как подойдет переизбор), таково было решение в какой-то хате, при какой-то встрече и деловом разговоре у мужиков.
(д. Корма, Добрушской волости).



Очерки производства СТРОИМ МЫ, СТРОИМ...

(Гомельская электростанция).

**Советская власть плюс электрификация
есть коммунизм.**

Вечер. Широкой, механолой трудью навалился потумрак. В ушах, убежая вдаль один за другим маячат, как нацищенные пуговицы, электрические фонари.

В будущем сердцевина жизни—электростанция. Замерла она, нет тока, остановились фабрики и заводы. Это в будущем.

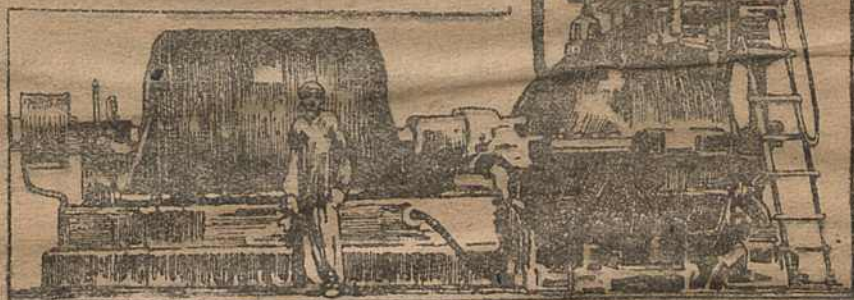
Далеко ли это будущее?

Нет. С наступлением оттопели приступим к подготовительной работе. Как только промышленность получит моторы, сейчас же она будет переведена на электрическую тягу.

спромяну вышеуказанную Гомельская городская электростанция». Через раскрытые ворота во дворе видны кирпичи, доски, обрубки, а дальше возвышается новый, обточенный корпус с высокой трубой. Еще в 1921 г. вместо этого каменного корпуса стоял пришабленный, законченный барак—старая электростанция.

Главное внутри. Две машины: старая и новая. Старая—поршневая, 150 оборот в минуту, мощностью—350 килоуатт; новая—турбогенератор, 300 оборотов в минуту, мощностью—500 килоуатт, колеблющее напряжение—3300. Турбогенератор пущен в эксплуатацию 6 ноября 1925 г. А к сентябрю 1926 г. будет установлен

Турбогенератор мощностью 6500 килоуатт

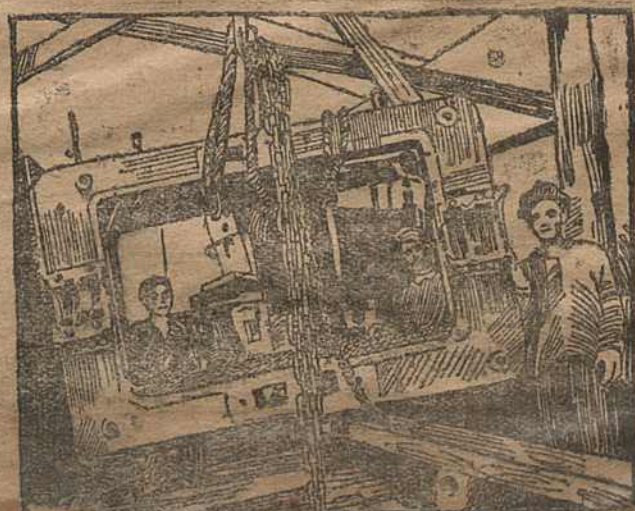


В мае-июне промышленность Гомеля и Ново-Белицы будет частично электрифицирована. Мы делаем большой шаг вперед. Мы строим сердцевину.

Когда едешь в Ново-Белицу, на повороте, недалеко от моста читаешь еле заметную,

второй турбогенератор мощностью—1500 килоуатт. Вместе с вторым турбогенератором заказано расширительное устройство, рассчитанное для установки третьего турбогенератора, который предположительно заказать осенью 1926 г.

Из машинного отделения поглядим в котель-



Установка турбогенератора

ный зал. Тут пока стоят два промадных котла.

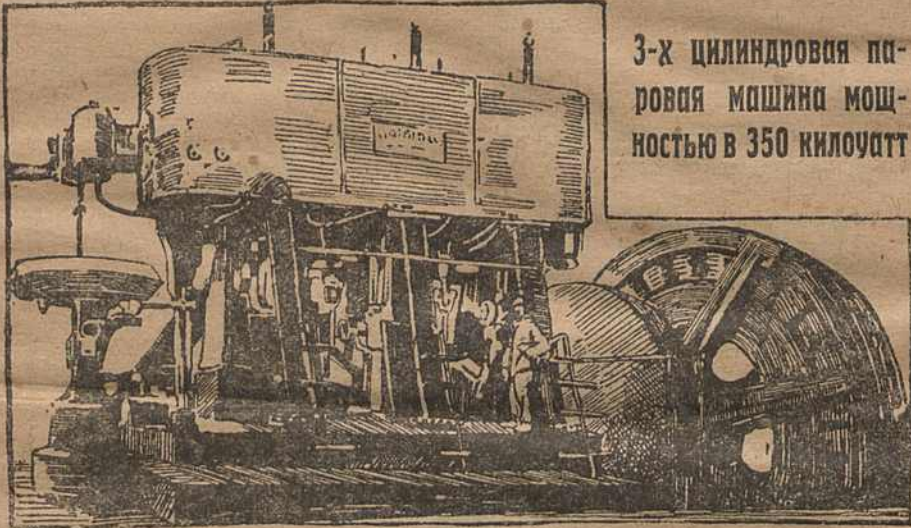
Поверхность нагрева—260 метров. Рабочее давление—12 атмосфер, гордо заявляет рабочий и добавляет,—пара таких котелков за ночь сжигает 1000 пудов угля.

Котельный зал рассчитан на пять котлов. К октябрю 1926 г. придут два котла, заказанные в прошлом году. У каждого из них площадь нагрева в 300 метров, а рабочее давление в 15 атмосфер. В котельном зале пока рас-

В истекшем хозяйственном году на оборудование электростанции затрачено около 275.000 рублей.

В предстоящем строительном сезоне, помимо установки турбогенератора и двух котлов, станция приступает к постройке нового корпуса, в котором будут размещены механические и электро-технические мастерские, контора станции и завком.

1926 год потребует затрату в 600.000 руб. К осени 1926 г. наша электростанция будет иметь



3-х цилиндровая паровая машина мощностью в 350 киловатт

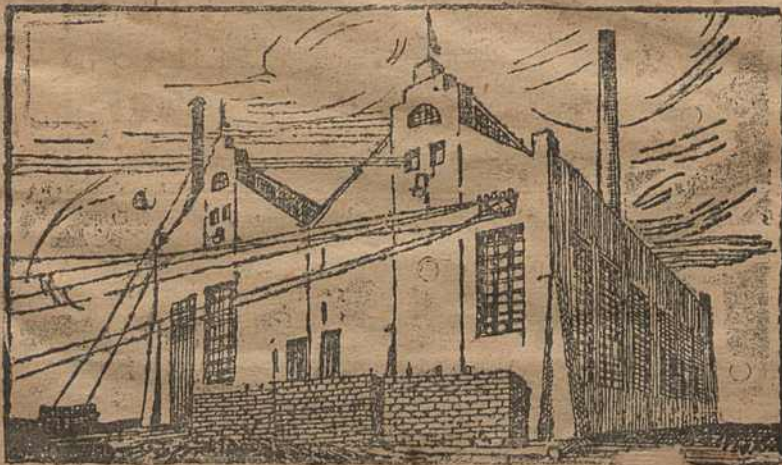
положились временная мастерская, работающая для нужд электростанции. Кроме мастерской при станции имеется лаборатория для проверки счетчиков и монтажное бюро.

Часть механизмов электростанции спрятана под полом. Внизу, под турбогенератором—затейливое, блестящее новизной приспособление—насосный агрегат, приводящийся в движение отдельным мотором. Потребность воды для турбогенератора—26.000 ведер в час. Вода берется из Сожа, водокачкой поднимается в 2 бассейна, а потом попадает в турбину.

машинный и котловой резерв, а в 1927 г. постройка электростанции будет закончена. В 1927 г. электростанция станет сердцевинной точкой которой будет питаться промышленность.

В повседневной суете, за мелочами будней мы не замечаем, как создается стремительная захватывающая поэма. Ритм этой поэмы рассчитан с точностью до одной миллионной, музыка—стройный хор приводов, шестерен, трансмиссий, герой поэмы—коллективный труд, а содержание поэмы—коммуна.

П. Нислицын.



Станция в настоящее время

ПО ЦЕХАМ.

(Гл. ж. д. мастерские)

Цехов много. Из главных: оборный и вагонный. Подсобные к ним: колесный, кузнечный, литейный, токарный, ряд мастерских при цехах. Кузнечный и литейный рядом. Напротив них электрическая станция. Связана с кузницей трубой для пара, облеченной в деревянный ящик. Входя в цех труба разбегается змеисто во всем молотом и станкам. Молоты разбросаны в порядке по всему полу. Меж них выстроились четырех и двухместные горна с наковальнями, выпустившими причудливые носы. Около, превращая раскаленный металл в заданные формы, работают кузнецы. Схватив клещами нагретые куски, сажалот их под молот. На лицах отблески пламени. В руках быстроты. Положили под бабу. Механик выпускает в цилиндр пар и плотная масса ахает по раскаленному железу. Быстро поддается оно, расплющивается и скоро принимает нужную форму. Смолкает молот. На мяжком ступе сбоку механик молота проверяет свое детище, пошатывает на его голову—цилиндр с кудрявыми волосами из крученого пара свисого, разбегалось вверх. Бегаёт быстро без ударов баба меж парашелей. Прут работу опять. Снова движение стальных долей. Стукам втория удары трех паровых молотов вместе со звоном наковален и кувалд. Жизнь кипит влочеом. В пелене редкого дыма от горна, плывущего к потолку, ритмично двигаются рабочие.

Гул.. Прохот.. В уши стукотня. Кроме нее ничего не слышно. У наковален работа труднее. Там молотом является молотобоец, вразмажку из-за уха бьющий кувалдой в такт кузнецу. Только и слышно перестукивание: дзинь.. тук.. дзинь.. тук..

Остыло железо. Его в горн обратно, обратно в раскаленную массу угля с каскадом светящихся пчел—искр. Подносятся они вверх от вентилятора. Стоит он в углу, рядом с выходящим лениво точилом. Нагревается железо, молотобоец отдыхает. Оттягивает рубашку на плечах, вытирает лицо и глубоко дышит. На лице улыбка.

Рубаха в подтеках пота. На дворе холод, а в цеху огневица.

Около станков рядами зевалот на цех кучи болтов и заклинков. Сакриды изготовленного количества предметов, ожидающих употребления.

В цех амеей скользит дорога, по которой перемещаются вагоны, подвозя материалы и увозя готовые предметы.

На стене, на красном фоне—Ленин. Среди кузнецов цеха—неутомимый кузнец. Смотрит на переливающиеся пламя под конусами вытяжных труб.

Напротив — литейный цех, для медного чугуна и литья. Медно-литейная только недавно отстроилась. Счастливы улыбунулись литейщики, перейдя в новое просторное помещение без вечных свозняков, без тесноты, без мра-

ка. Даже как-то и печь. Рассохила гуще гудят, сильнее всех вентилятор, приводимый в движение буйным шкивом с шелестящим ремнем. Из медного, через дверь, в чугуно-литейный цех. Наверху кондором расстутив черные стальные крылья, зацепившиеся за рельсы, положенные на специальные колонны,—ползет

К ногам привязаны цепи, спускающиеся к земле. Тянут их и напряженно шуршит вверху кран, высматривая шниц. Подполз, схватил носом-крюком, поднял, повернул и потащил к себе в темное, теплое гнездо-сушилку. Опять шевелится шестеренка, вертятся осевые валы и только согнутая к земле шея мерно раскачивается в такт рыжков рабочих рук. Занес порцию и опять в цех под обзор.

— Трудно таскать его — жалуются рабочие, потирая мозолистые ладони.

У стены самовар цеха—вагранка. Оделась ожерельями из железных стержней. Чистят ее, затем начинают кормить металлом и кожом сверху. Грузно ползет железный ящик, подмая завалил чугуна. Накормивши закрывают ее, и начинают вариться чай гостям—опокам, широко раскрывшим свои рты. У стены собираются рабочие с ковшами, лезет и жидкая, несет с собой огромную чашку, в надежде тоже получить кипятку. Наконец, ломом открывается отверстие и течет светлая струя, медленно, как слюны изо рта, хваталот ее нарасхват рабочие, не обращая внимания на прыгающие в разные стороны светящиеся светлячки-пестры. Наконец, подлез и со своей чашкой, двинул шей, колыкнулся постоянный гость. Долго, долго набирает и, наконец, отходит. Уверенно нажимают рабочие, развозя и осторожно разливая чугун. Опоки, лаявшие по горло, показывают синеватые языки, чихая клубами синеватого дыма, заявляя, что с них уже довольно.

Отливка переходит во вторую смену (один из принципов вводимого НОТа). Залиты на опоки сеют воду через сита. В цеху пар, дым. Двери настежь. Остыла отливка, опоки разламывают и выгаскивают рогатые кривули, облеченные приставшей землей. Утром в обрубленную на отделку. И снова занимается делом хлебопека формовщики, из черного теста лепят причудливые фигуры.

Когда вагранка не работает—в цеху тихо. Войдешь и сразу кажется, что в цеху нет никого. За рядами опок, за кучами земли молча копошатся, пригнувшись к земле, люди и только нервные звуки:

— Красновой, кран!

— Пичуро, не дури!

Цех этот очень заматерельный и требует от людей, там работающих, большого знания дела. Хорошие работники там и работают, спорится работа в их руках без промедления. Хорошие ребята—спаянный коллектив.

Н. Иванов.

Среди книг

А. НЕВЕРОВ, ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. В СЕМИ ТОМАХ. Изд. «Звезда и Фабрика». М.—Л. 1926 г. Цена тома от 1 р. 70 к. до 2 р. 65 коп.

В 1903 году в журнале «Вестник грезвосты» напечатан первый рассказ А. С. Неверова—«Горе залили». Народный учитель, по происхождению из крестьянства, в первых своих рассказах повествует о зерых, бесцветных днях сельского учительства, о горькой жизни деревни и накапливающей ненависти крестьянства против живущих в просторных комнатах помещиков («Музыка»). До 1917 г. Неверов пишет ряд рассказов, но все это еще мелкое художественно-малокропное. Только после революции он в короткий срок, развертывается в крупного писателя, создает все самое ценное, яркое в общественном и художественном отношении.

Безвременная смерть (24 декабря 1923 года) унесла его в расцвете таланта, многообещающим и любимым читателями художником. Через всю свою жизнь Неверов нес одно, ему самое близкое и родное—деревню. Город вкрадывается в его творчество несоблюдимыми и художественно менее убедительными моментами.

Деревня же представлена во всех социальных прослойках и проявлениях ярко художественно, правдиво и убедительно.

Общий лоток революции Неверов красочно изображает в высокохудожественных произведениях—«Гуси-лебеди» и «Андрей Полуговин».

Сам переживший зиму 1921—1922 года в центре голодающего Поволжья—Самаре, он пишет ряд незабываемых, потрясающих

«ЦЕМЕНТ». (Роман

Чем же привлекает «Цемент»?

Это первое широкое полотно строящейся революционной страны. Первое художественно-обобщенное воспроизведение революционного строительства, начинающегося быта.

И картина дана не осколочками, не отдельными уголками, а широким, смелым, твердым размахом.

Но в чем же правда этой вещи?

Правда в простоте, внешней грубоватости, пожалуй, корявости рабочего народа. И говорят-то—маленьким языком, вразумительно: по гимназиям, по университетам не образовывались,—самодельный наш народ.

И под этой корявой мыслотостью какой дьяволов упор,—как-будто, медленно переворачиваясь, неуклюже сдвигается по целине откол горы, а за ней, глядь!—дорога, как водом прорытая. И это—правда, ибо нигде не подчеркивается, а разито по всей вещи.

И быт новый строит кособоко, по-мелко, слышно, как черепки хрустят,—а строят. И что хорошо: не столько строят, сколько он строится.

И что дорого: эта перестройка сердца,

рассказов о голоде. Таковы: «Далекий путь», «За хлебом», «Страдания», «Обыкновенное» и ряд других.

Несобыкновенной чуткостью и ласковостью согреты его произведения, рисунки детей. Как живые, проходят перед нами герои «Гашевина—города хлебного»—два крестьянских мальчугана, поехавших за хлебом.

В творчестве Неверова мы найдем и отражение империалистической войны («В казарме», «Среди умирающих») и быт духоборства и «создающего» советской власти служащего («Кровать») и красноармейца Терехина.

Покажет он нам и образцы малознательного рабочего, в котором под влиянием событий просыпается классовое чувство («Случай из жизни»), и чуткого сознательного Павла, страдающего от непонимания его окружающими («Стишок»), и героя труда пролетария, осознавшего необходимость отдать себя за радостное и безжалостное будущее детей («Я хочу жить»).

Во все периоды творчества он прилежно здоровую крепкую хватку жизненных явлений. Это делает его ценным рабоче-крестьянским писателем. Его воспитательное значение огромно—отсюда и издаваемое собрание сочинений имеет широкое общественное значение. В первом томе собрания сочинений предпосылается ценная статья проф. Н. Н. Фатова.

А. Р.

Ф. Глаткова).

взаимоотношений не навязывается в романе, а сама собою ткется в громогласящих событиях, в человеческом напряжении работы, в дьявольском напряжении борьбы.

Все фигуры в «Цементе» отчетливы, запоминаются, разнообразны, живы.

Гладков сжат, экономен. Нет лишнего слов, растянутостей, многословия. В своей манере писать он так же суров, как и его персонажи.

Его великолепный пейзаж своеобразен и красочен.

Яркие черты романа с лихвой покрывают, может быть, места излишней приподнятости, цветистую взвешенность диалога. Может быть, несколько случена мягкотелость партийных интеллигентов. Но то, что они неправдивы, нет, они ярки, живы, убедительны, но для верности персонажи надо было дополнить фигурой интеллигента крепкой складки—ведь революция жила богатая.

По своему жанру роман—у Ф. Глаткова свое лицо, ни с кем не смешавший.

Пролетарский читатель, пронавадение г. Глаткова оценит, ибо чувствует правду,—собираются, читают, убеждают.

А. Серафимович.

РАДИО ДЛЯ ВСЕХ!

НАР. КОМ. ПОЧТ. и ТЕЛ.

КОММЕРЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

„СВЯЗЬ“

ЗАПАДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО.

Минск, Ленинская ул. № 34. телеф. № 7-77.

ОТДЕЛЕНИЯ:

в Гомеле, Витебске, Смоленске.

Текущий счет в Сельхозбанке № 37.

Представительство при всех п.-т. конторах
Западного Округа.

Выполнение заказов по постройке широкопередатч. радио-станций

ПРОДАЖА РАДИО АППАРАТУРЫ.

Прием заказов на монтажные работы с ап-
паратурой «СВЯЗИ».

Устройство домашних радио-установок от 25 руб.

ПРОДАЖА РАДИО-ЛИТЕРАТУРЫ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.

Цены на радио-продукцию значительно понижены.

Организациям и учреждениям по коллектив-
ным заявкам КРЕДИТ.

По телефонному вызову № 7-77 высылаются
техники для составл. смет и консультации.

По всем вопросам радио-установок звоните телефон № 7-77.

РАДИО ДЛЯ ВСЕХ!

В
С
Е
Д
Л
Я
Р
А
Д
И
О!

В
С
Е
Д
Л
Я
Р
А
Д
И
О!

И О Н Д А Ч И Р И Я С Е Б

КОММУНИКАЦИОННО-ТЕЛЕГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТЕЛЕГРАФНО-ТЕЛЕФОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОММУНИКАЦИОННО-ТЕЛЕГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

“СВЯЗЬ”

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИОННО-ТЕЛЕГРАФИЧЕСКОЕ

Москва, Ленинградский проспект, № 31, телефон № 7-27

ОТДЕЛЕНИЯ:

в Ленинградском районе, С. Кавказская

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

ПРОДАЖА РАДИО АППАРАТУРЫ

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37

в Ленинградском районе, С. Кавказская № 37